

Наум Резниченко

От “пылкого мальчика” – к “мужу с честью и умом”. Довоенные и военные дневники Давида Самойлова как средство нравственного и творческого становления личности

From “Ardent Boy” to “A Man with Honour and Intellect”: David Samoilov’s Pre-War and Wartime Diaries

This article is devoted to *Podennie zapisi* [Daily Notes], the diaries by Russian poet David Samoilov (1920–1990), which depict the main events in his life and the historical period in which he lived. The article focuses on the years 1934 to 1945, a crucial period for the foundation and evolution of the poet’s moral and creative principles, which shaped the poet’s personal artistic world, his political ideology and his philosophical worldview. Samoilov’s diaries provide a “mirror” of the historical fate of his generation, whom he calls “the generation of 1940”. Ultimately, I argue that Samoilov’s diaries are not simply an autobiographical document, but a “personal history”, which is developed more fully in Samoilov’s poetry.

Был должен оказать себя
Не мячиком предрассуждений,
Не пылким мальчиком, бойцом,
Но мужем с честью и умом.

А.С. Пушкин, *Евгений Онегин*

В стихотворении *Дневник* (1979), написанном, когда поэт был уже совсем близок к преодолению “третьего перевала”, Давид Самойлов представил прожитые годы как легкое, беззаботное существование

баловня судьбы, бонвивана, весельчака и остроумца, что одинаково “шутейно” говорит “и с залетейской тенью, и с ангелом в раю”, – совершенно в духе образа поэта-эпикурейца, поэта-гусара, поэта-ваганта

(беззаботного студента), который культивировали русские романтики начала XIX века, составившие общество “Арзамас”, куда входил и лицеист Пушкин: “Листаю жизнь свою, / Где радуюсь и пью, / Люблю и негодую. / И в ус себе не дую. // Листаю жизнь свою, / Где плачу и пою, / Счастливый по природе / При всяческой погоде” (Самойлов 2006: 279). Жизнь в этом стихотворении уподоблена дневнику, страницы которого листаются легко, без особого душевного усилия, как бы в противовес пушкинскому “И с отвращением читая жизнь мою...”. Легкость “листания жизни” подчеркнута “летающей” стихотворной техникой Самойлова: тройной анафорой “Листаю жизнь свою, где...”, рифмой-каламбуром “негодую – не дую”, стяжением в рифме профанного и сакрального (“свою – пью – пою – в раю” – здесь и далее курсив в цитатах мой – Н.Р.), языческого и христианского (“залетейская тень” и “ангел в раю”) (см. Самойлов 2005), регулярным чередованием в первых строфах мужской и женской рифмы и сменой схемы рифмовки в финале (смежная – кольцевая). Но анакреонтический пафос этого стихотворения составляет ощутимый контраст не

только горькому пушкинскому *Воспоминанию*. Он “оппонирует” *Поденным записям* (в дальнейшем ПдЗ) – дневникам Давида Самойлова, которые поэт вел почти без перерыва с четырнадцати лет до последних дней жизни. Эти дневники воссоздают сложную, порой трагическую картину духовных исканий человека, далеко не всегда счастливого “при всяческой погоде”. Роль ПдЗ в нравственном и творческом становлении Давида Самойлова с их пафосом правдоискательства и приоритетом чувства долга примерно такая же, какую играл *Дневник* в жизни Льва Толстого. Постоянный самоанализ, часто переходящий в самобичевание, моральный ригоризм, размышления о Боге и человеке, о смысле истории, о призвании поэта и его отношениях с властью, этико-философская рефлексия – эти душевные свойства личности автора ПдЗ психологически и нравственно соприродны толстовскому “категорическому императиву” “самоусовершенствования”. Имя Толстого появляется уже на первых страницах дневника Давида Самойлова, которого тогда называли Дезиком Кауфманом:

Читал “Войну и мир”. Какая замечательная книга! Больше всех мне нравится Пьер Безухов. Я даже согласен с Л.Н. Толстым, что нужно “самоусовершенствоваться”, но теорию “непротивления злу” отрицаю. Вся жизнь человечества есть борьба, в ней и вся красота жизни. Сначала борьба с грозными силами природы, теперь борьба людей между собой за свободу, равенство и братство и после борьба за покорение вселенной, за человека – гегемона вселенной. Чем бы был человек без борьбы? Он был бы червяк, только в ней истинное величие человека (запись от 11.12.1924) (Самойлов 2002, I: 14).

Будем помнить: это пишет 14-летний школьник, ученик 8-го класса, самостоятельно открывающий для себя великую книгу, которую его сверстники будут читать лишь год спустя под руководством правильно ориентированных учителей литературы. Но как ощутимы в этой записи жесткие идеологические акценты времени: идея борьбы “за свободу, равенство и братство”

как смысла жизни и идея “человека – гегемона вселенной”. Сразу же бросается в глаза противоречие: воспевая человека-борца и презирая человека-“червяка”, “человека без борьбы”, юный “марксист-ленинец” Дезик Кауфман из “ищущих” героев *Войны и мира* выбирает не целеустремленного, деятельного Андрея Болконского, а как раз мягкотелого, сомневающегося, склонного к тяжелой рефлексии Пьера Безухова. Именно это противоречие жестких и мягких тонов: романтического максимализма и трезво-аналитического взгляда на жизнь, абстрактной идеи, требующей беспощадного отношения к врагам революции, и жалости к отдельному человеку и всякому живому существу на земле – составляет главный “контрапункт” ранних дневников Давида Самойлова¹. В них

¹Характерно, что после ригористических рассуждений о “борьбе” следует пространный дифирамб *лени* как двигателю личного и исторического прогресса, очевидно, навеянный пушкинскими строками о Дельвиге, “сыне лени вдохновенной”, из программного 19 октября (1825). Но и в этом поэтическом дифирамбе слышны суровые нотки времени: “Не будь лени, не было бы классовой борьбы, не было бы красоты жизни и великих научных открытий. А кто строит машины, устраивает войны, строит коммунизм? Лень”. Интересно, что

хорошо виден “пылкий мальчик” – дитя эпохи усиливающейся классовой борьбы и построения социализма “в одной отдельно взятой стране”, которому от природы достался тонкий, ранимый, влюбчивый характер, склонный к мучительному самоанализу, к перепадам настроений, оценок и взглядов, к “мечтательному философствованию” в духе Пьера Безухова и построению утопических проектов, инспирируемых господствующей коммунистической идеологией, помноженной у юного автора на врожденное острое чувство творящейся на глазах мировой истории. Горькое отрезвление придет позже, как и прощание с высокой революционной идеей, а заодно и с наивно-романтическими иллюзиями о возможности полноценного диалога поэта и власти. А пока на страницах дневника Самойлова-школьника, Самойлова-

все это пишется на уроке математики и завершается очередной тематической “сбивкой”: “Черт дери! Скорей бы звонок, а то урок математики что-то затянулся. Интересно, пришла ли В.? Она тут” (Там же: 14). А в записи следующего дня уже звучат призывы к мировой революции, которая изменит тяжелое положение евреев Польши... Какая, однако, “идеологическая какофония” царит в голове советского школьника!

студента ИФЛИ, Самойлова-солдата разворачивается острая нравственно-духовная драма, которая будет сопровождать поэта всю жизнь и которая во многом определит и его независимую гражданскую позицию в годы “оттепели” и “застоя”, и особое место в литературной жизни страны, резко изменившейся после смерти Сталина. О меняющемся отношении Самойлова к вождю народов и идее коммунизма поведают тот же дневник. В основе этой драмы – борьба абстрактной идеи и живого начала, проявляющегося в доброте и сочувствии к человеку, к ближнему, будь то родители, учителя², одноклассники и – особенно – одноклассницы. Вот несколько красноречивых записей.

О школьном товарище В.П. Пуцилло, рано потерявшем отца и не находящем общего языка с матерью:

Я вижу, что нашел не-оцененого друга. [...]
“Чтобы узнать жизнь,

² См. пространную запись от 14.01.1935 г., посвященную учителю математики Ф.Ф.Виноградову, которого руководство школы №19, где поэт учился до седьмого класса, освободило от занимаемой должности из-за рассеянности и неумения держать дисциплину на уроке (Там же: 21–23).

нужно испытать ее”, – говорит он. [...] Мы очень близки друг другу. К чувству дружбы у меня примешивается еще чувство глубокой жалости. [...] Он действительно страдал. Он одинок. Я постараюсь ввести его в круг своей семьи (запись от 9.10.1935 г.) (Там же: 39–40).

Об одной из своих многочисленных школьных влюбленностей – Н.М. Черкез:

Хреновое настроение. Не знаю, что делать. Чувствую себя подлецом и негодяем. С какой стати сказал я ей, что люблю ее, когда не был в этом как следует уверен? Что я скажу ей теперь? За кого она меня примет? Если я буду молчать, то это гадко и подло с моей стороны, если я скажу, это будет честнее, но с какой стороны покажу я себя! Если бы это была другая, более ветреная и легкомысленная, то дело другое. Но она любит меня серьезно. А молчать больше нельзя. Настроение гадкое. Предложить ей дружбу? Но она это примет за

насмешку. Я подлый эгоист. Мелкий честолюбец. Хотел видеть ее у своих ног, не любя, только потому, что ее любят многие. И я мог находить в этом удовольствие. Я решил завтра спросить ее серьезно: любит ли она меня или колеблется в своих чувствах. Если первое, я глубоко несчастен, если второе, я счастлив (запись от 1.10.1935 г.) (Там же: 38).

Детская влюбленность и заканчивается совсем по-детски, хотя не детский характер жестких нравственных требований, предъявляемых к себе юным “донжуаном”, очевиден: “Я покончил с NN. Сверх ожидания она не называла меня негодяем. Видно, я сам ей надоел. Но это все позади (Мы любим забывать неприятное. Это в человеческой природе. 5 января 36-го.)” (запись от 9.10.1935 г.) (Там же: 39). Замечательна здесь философская сентенция о “человеческой природе” в стиле “журнала” Печорина в *Княжне Мери*. Далее в скобках стоит дата, отсылающая к дневниковой записи 5 января 1936 г. Запись эта посвящена спорам о существовании Бога с Феликсом

Зигелем – одним из самых близких школьных друзей Давида Самойлова. Решительно осудив впавшего в религию Зигеля и разбив все его доказательства существования Бога, атеист Самойлов пишет: “Взгляды Зигеля угрожают нашей дружбе. *А все же я преклоняюсь перед его верой и честностью*” (Там же: 55).

Вопреки “воинствующему атеизму” и “пролетарскому гуманизму”, которые рьяно насаждались идеологами советской власти и жестоко изуродовали сознание миллионов людей, в душе готовящегося к поступлению в комсомол “искреннего марксиста” (как определял себя поэт в годы юности) берет верх живая, а не книжная любовь к человеку – любовь-сострадание, любовь-жалость, о которой Самойлов проникновенно напишет в *Пярнуских элегиях*: “И жалко всех и вся. И жалко / Закушенного полушалка, / Когда одна, вдоль дюн, бегом – / Душа – несчастная гречанка... / А перед ней взлетает чайка. / И больше никого кругом” (Самойлов 2006: 239).

Это написано на закате жизни зрелым человеком и состоявшимся поэтом. А вот что пишет четырнадцатилетний мальчик в своем дневнике от 15.01.1935 г.:

У меня (хотя, может быть, это только мои предположения) характер какой-то особенный, и меня мало кто понимает. Я так же добр, как и зол, так же откровенен, как и скрытен. Я сам замечаю противоречивость своей натуры. Я способен понимать самые тонкие движения человеческой души, но нет того, кто бы понял мою душу (Там же: 21).

Здесь, как и в других дневниковых записях подобного свойства, прослушиваются отголоски романа *Герой нашего времени*, который в это время читали и обсуждали на уроках литературы ученики восьмого класса. Первые фразы отсылают к началу “исповеди” Печорина княжне Мери (ср.: “Я был скромн – меня обвиняли в лукавстве: я стал *скрытен*. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал...”), а последняя – к горьким размышлениям героя накануне дуэли с Грушницким: “И, может быть, завтра я умру!.. и не останется на земле *ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно*”. Но такое стилистическое подражание Лермонтову меньше всего ли-

тературная игра в “демонизм”. Как и у пушкинской Татьяны, сквозь книжную оболочку видны подлинные чувства. Далее Дезик Кауфман пишет о своих трудных отношениях с родителями:

Родители мои, люди очень хорошие и добрые, и те подчас не понимают меня, и это меня раздражает. Я нервничаю и волнуюсь, порой бываю груб, а они говорят, что я “испортился”. Нет! Я ни капли не испортился, я только хочу, чтобы поняли мое настроение, которого сам не понимаю и не могу понять (Там же: 21).

В последней фразе поражает степень самокритичности, как правило, не свойственной раннему сознанию формирующегося подростка.

Один из “центральных нервных узлов” школьных и студенческих дневников Самойлова – отношение к женщине и природа любви. Об этом написано очень много и не по возрасту зрело. Иногда рассуждения на любовную тему превращаются в философский трактат.

Вообще, что такое любовь? Это физическое чувство, переработанное духовно. В конце концов, любовь к женщине, как бы платонична она ни была, всегда останется половым влечением. Существует только различная окраска. Начало такого физического чувства существует и у нас, значит, существует и начало любви. В чем же выражается это чувство? Во-первых, в непреодолимом влечении к особам женского пола, в своеобразном томлении и беспокойном сне.

Ввиду того что половое влечение еще недостаточно окрепло, я считаю чувства в нашем возрасте наиболее чистыми, платоническими. Это выражается в том, что часто мы влюбляемся в особ, физически совершенно ничего собой не представляющих, и связь наша носит характер особой дружбы (запись от 29.09.1935 г.).

А в конце этого “трактата” – указания самому себе, как вести себя с девушками на данном этапе жизни:

Я считаю, что уходить или прятаться от этих чувств нечего, но давать им особую волю и возводить в степень настоящей любви тоже нельзя. Нечего распускаться. Если дашь себе волю, то окончательно истаскаешься, сделаешься фатом и, когда придет время настоящей любви, потеряешь вкус к жизни. [...] Я ищу сейчас долгой и большой любви-дружбы, ищу простых и близких духовно отношений, ищу одинаковых интересов. Думаю, что, найдя их, я покончу с донжуанством и обрету полнейший душевный покой (Там же: 35–36).

Можно посмеяться над наивностью последней фразы, но нельзя посмеяться над нравственным целомудрием юноши, вступившего в пору полового созревания, усиленного национальным темпераментом и психофизиологическими особенностями характера. Миф о “донжуанстве” Самойлова стал притчей во языцех, но это именно миф, созданный самим поэтом и опровергаемый его дневниками, в том числе и ПдЗ военного времени, когда общественная мо-

раль, в силу вполне понятных причин, стала намного свободней. Но только не для Самойлова-солдата и Самойлова-поэта – автора пронзительно-целомудренных стихов о солдате и женщине: *О солдатской любви* (1944), *Как смеют женщину ругать...* (1944), *Солдат и Марта* (1973), *Полночь под Иван-Купала...* (1973), *Снегопад* (1975) и др. Пошлые амурные похождения, потребительское отношение к женщине по принципу “попользоваться насчет клубнички” всегда вызывали у него чувство нравственной брезгливости. В этом смысле в армии (да и после войны) поэт был “белой вороной”. Вот несколько характерных записей.

Вчерашние поцелуи девушки и сегодняшние – женщины. Нет, вчера слаще. К ним не примешивается никакая горечь, никакие протесты совести. Пусть она считает меня идиотом – я не пошел дальше (запись от 11.07.1943 г.); Война все спишет. Обманул – спишет, украл – спишет. Врете! Как был ты сукин сын, так и останешься. Ничего она не спишет (запись от 15.08.1943 г.); О римском падении нра-

вов могут говорить только интеллигенты из породы поганых, у которых грех в мыслях, или старые перечницы. Просто бабья тоска по мужчине, тоска девушек, не знавших первого поцелуя. Трагедия невест. Еще один роман. Мы гуляли ночью. Потом я поцеловал ее. Она подставила губы доверчиво и неловко (запись от 16.08.1943 г.) (Там же: 168, 172).

Это о событиях, связанных с пребыванием в запасном полку под Горьким на заготовке дров, куда сержант Кауфман был направлен после Красноуральского госпиталя.

А вот записи из дневников 1944–1945 гг., сделанные в Польше и в Германии – на чужой территории и на земле врага:

Несчастные поляки! Они возвращаются в родные места, как птицы к разоренным гнездам. К нам входит девушка из соседнего дома. Она ищет остатки своих вещей. Она маленькая, хрупкая, с кукольным хорошеньким личиком. Я иду с ней. В мрачной, пустой и

нетопленной комнате сидит слепая старуха-мать. Старик-отец в равном пиджаке разводит руками и утешает мать и жену словами жалкой бодрости, от которой хочется плакать. Я спрашиваю, не хотят ли они есть. Да, они двое суток не ели. Я приношу им солдатского супу и хлеба, забавляю Хелену как умею.

Она ужасно устала! Она подходит ко мне и ложится рядом на матрас, брошенный на пол. Я накрываю ее своим тулупом. Она прижимается, обнимает меня за шею и засыпает сразу же у меня на плече. Так я просидел всю ночь, держа ее на руках и слушая ее дыхание (без даты, 1944 г.) (Там же: 207).

В деревушке, где мы стоим, немцы собрались в подвале. Солдаты “шуруют” их вещи.

Молодая девушка – Хельга. Семнадцать лет. Ее пять раз изнасиловали солдаты. Женщины просят, чтобы больше ее не трогали – она не может.

Какой ужас! Она сама меня просит об этом. [...] Весь день я провозился со стариками, бабами, их детьми, охраняя их от всяких посягательств (запись от 21.04.1945 г.) (Там же: 222).

И еще одна памятная встреча с народом поверженной Германии:

Два музыканта-немца, уже старички, их жены, из которых одна не может передвигаться. Ее возят в колясочке. Они остались, потому что не могли уйти. Мы говорили о музыке в чулане, куда они переселились. Мы говорили о музыке не словами, ибо едва понимали друг друга, а обрывками мелодий – из Брамса, из Чайковского. Потом им велели убраться. Они пошли, старомодные старички, худые, в шляпах и осенних пальто, везя за собой на тележке небрежно увязанные остатки скарба и больную старуху. Горе Германии, заслуженное горе, прошло перед моими глазами, и я поклялся себе не обидеть жены и дитяти вра-

га своего (запись от 7.02.1945 г.) (Там же: 209–210).

“Не обидеть жены и дитяти врага своего” – это ведь, в сущности, перефразированные слова Иисуса Христа “а кто соблазнит одного из малых сих”, Чьи заповеди так страстно опровергал пятнадцатилетний Дезик в споре с закадычным другом Зигелем. Но одно дело опровергать или воздвигать моральные постулаты, а другое поступать по-человечески в нечеловеческих условиях³. Именно таким поступкам учили будущего поэта его родители, особенно отец, рассказывавший мальчику истории из Ветхого Завета и внушивший жалость к гонимому еврейскому народу – ко всем его “старомодным старикам, худым, в шляпах и осенних пальто”, к несчастным старухам, женщинам и детям, о которых писали Шолом-Алейхем и Менделе Мойхер-Сфорим. 6 марта 1936 г. Дезик вместе с родителями побывал

³ Рассказывая о военных годах в *Памятных записках* и рассуждая о заповеди “Не убий” в соотношении с войной, Самойлов пишет: “...вне практического осуществления нравственность становится абстракцией, и ее существование равно несуществованию” (Самойлов 1995: 219).

на юбилейном вечере Мойхер-Сфорима, о чем не преминул записать в дневнике. Запись эта поражает недетской, поистине библейской мудростью:

Только что я был на вечере, на еврейском вечере, посвященном столетию со дня рождения Менделе Мойхер-Сфорим. Странные, новые и приятные чувства испытал я. Это был почти единственный раз, когда я почувствовал свой народ, и глубокая теплота к нему зародилась в моем сердце.

В сущности, у меня нет народа. Дух еврейства чужд, непонятен, далек мне. По убеждениям я интернационалист, а по духу... тоже. И все же что-то сблизжает меня с этим народом. И уверен я, что, приключись с ним еще какие-нибудь беды, я не уйду от него и смело приму вместе с моими братьями любое страдание. [...]

И все-таки далек мне этот народ. Раздольная волжская песня трогает больше мое сердце, чем унылая и надрывная песнь моего народа.

Язык моего народа не мой язык, его дух не мой дух, но его сердце – мое сердце (Самойлов 2002, I: 61).

Отношение к своему еврейству, тема евреев в России, в русской истории и культуре – предмет постоянных размышлений Давида Самойлова, получивших законченную концептуальную форму в поздних *Памятных записках* (в дальнейшем ПЗ)⁴. В приведенной дневниковой записи ученика 9-го класса уже намечены все болезненные психологические точки и острые историософские углы, связанные с этой темой. Дезик Кауфман – несомненно, дитя советского государства, воспитывавшего молодое поколение в духе пролетарского интернационализма, обернувшегося для евреев СССР почти полной культурно-языковой ассимиляцией. Еврейская судьба Давида Самойлова – типичная судьба советского еврея, русского человека по языку и культуре, но “еврея сердцем”. Тем самым сердцем, которое пожалело немецких стариков-музыкантов, инстинктивно вызвавших в памяти образы “древних седобородых” еврей-

⁴ См. Самойлов 1995: 50–60.

ских стариков на юбилейном вечере Мойхер-Сфорима. И еще здесь важна, конечно, музыка. “Мы говорили о музыке в чулане...” – в самой этой емкой фразе сконцентрирована многовековая история народных страданий, которые лучше всего выражает музыка гонимого народа. Музыка, песня народа противостоит “чулану”, куда пытаются загнать народ все тираны мира. Поразителен этот диалог о музыке “не словами, а обрывками мелодий – из Брамса, из Чайковского”, представляющих за Германию и Россию “поверх барьеров”, вопреки чувству ненависти и мести. Поразительно и то, что на следующей странице Самойлов пишет об ужасах лодзенского гетто, а еще через несколько страниц – о чуде выживших четырех евреев, которых он увидел в центре Берлина... (Там же: 209–210, 223). Еще не был написан *Доктор Живаго*, где священник-философ Веденяпин определяет нравственную сущность христианства с помощью метафоры музыки:

Я думаю, что если бы дремлющего в человеке зверя можно было остановить угрозой, всеравно, каталажки или загробного воздаяния,

высшею эмблемой человечества был бы укротитель с хлыстом, а не жертвующий собой проповедник. *Но в том-то и дело, что человека столетиями поднимала над животным и уносила ввысь не палка, а музыка: неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера.* До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии нравственные изречения и правила, заключенные в заповедях, а для меня самое главное то, что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна.

То, о чем рассказывает на страницах военного дневника солдат Давид Кауфман, – это и есть чистая “музыка” сердца, уносящая человека “ввысь” и поднимающая его “над животным”, и одновременно “притча из быта”, поясняющая христианскую истину “светом повседневности”.

Понимание того, что “общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна”, сформировалось у Давида Самойлова очень рано, о чем свидетельствуют ПдЗ школьной и институтской поры. Его дневники этого периода насквозь диалогичны: их переполняют споры на самые разные темы и с самыми разными собеседниками. Он дискутирует с учительницей истории о материи и абсолютном духе (запись от 13.12.1934 г.), с учительницей биологии – о существовании Бога (запись от 4.09.1935 г.); в подражание любимому Маяковскому, ведет “решительную борьбу против мещанских пережитков, процветающих в школе” (Самойлов 2002, I: 45) и организует школьный диспут о “неофутуризме” (запись от 18.11.1935 г.). Перейдя в образцово-показательную школу №1 им. Горького, Дезик Кауфман становится участником “пятых дней” – своеобразного литературного салона и одновременно дискуссионного клуба, проходящего на квартире его одноклассницы Лили Маркович – впоследствии Лилианны Лунгиной, известной литературной переводчицы со скандинавских языков, оставившей замечательные устные воспо-

минания о своей жизни (в том числе о годах школьной юности и учебе в ИФЛИ), по которым режиссер О. Дорман снял документальный фильм *Подстрочник*, а потом на его основе издал одноименную книгу.

Учась в ИФЛИ, Самойлов попадает в круг молодых поэтов П. Когана, Б. Слуцкого, М. Кульчицкого, С. Наровчатова, Е. Остермана, М. Бершадского и др. По сравнению со школой, где он был безусловным лидером, здесь он чаще слушает, чем говорит, проходя период поэтического ученичества. Но по принципиальным вопросам творческого, нравственного и идейно-политического характера он всегда отстаивает свою позицию⁵. Эта всегдашняя готовность к диалогу, открытость чужой точке зрения и сама эта живая, очень пушкинская, потребность в человеческом общении позволили сформироваться диалектическому сознанию, которое видит жизнь в ее противоречиях и, доверяя многообразию и динамике бытия, удерживает от однозначных категорических оценок людей и событий. Довоенные дневники Самойлова

⁵ Подробнее о годах учебы в ИФЛИ: Самойлов 1995: 111–181.

приоткрывают процесс такого формирования на конкретных примерах.

В записи от 28 мая 1936 г. будущий поэт рассказывает о своем посещении церкви, чей “блеск, пение и торжественность” погубили “немало простых душ”. Это посещение вызывает у него гневные кощунственные “филиппики” в адрес “христьянства”: “Как это столько веков люди не могут постигнуть всю лживость и гадость христьянства, как они могут поклоняться заповедям, противоречащим всей человеческой природе? Почему и теперь еще немало осталось верующих? Истина это или дурман?” (Самойлов 2002, I: 70). Потребовалось время и суровый опыт войны, чтобы непримиримый атеист Дезик Кауфман нашел ответы на эти вопросы. А пока, продолжая атаку на “христьянство”, мальчик не без издевки описывает ссору двух побирušек на паперти. Казалось бы, все акценты расставлены. Но, как это часто бывает, в конце прорывается сочувствие к только что презренным темным, забитым людям, чью жизнь одурманил “опиум для народа”: “Откуда они, эти жалкие люди? Интересно бы познакомиться с их бытом” (Там же: 71).

В школьных дневниках Давида Самойлова очень много рассуждений о жизни и смерти – умных, глубоких, не по возрасту философичных, но намного сильнее и человечнее проявляется отношение пылкого отрока к этим вечным вопросам, когда он сталкивается с жизнью и смертью лицом к лицу. “Я плачу и не могу сейчас писать. Только что пришла соседка и сказала, что тут одна соседка умерла. У нее остались двое маленьких детей. Я плачу и не могу писать” (запись от 17.06.1936 г.) (Там же: 75). И более ранняя запись:

Недавно я узнал печальную новость: заболела Ира Медникова, девочка, которая училась в прошлом году в нашей школе. Эта девочка была первой ученицей во всей нашей школе, она была умна и начитанна. Естественно, я был не совсем равнодушен к ней. Заболела она серьезно, туберкулезом, и теперь очень плохо.

Я помню, как год назад в морозные зимние вечера мы вместе ходили домой, и разговаривали обо всем, и наперебой

рассказывали что-нибудь друг другу...

А теперь она больна, а может быть, и смерть витает над ее изголовьем.

Далее следует очередной лирико-философский пассаж о смерти – “самом страшном, самом безжалостном враге человечества”. Мысль устремляется в космические высоты встревоженного духа, но юный автор одергивает себя и честно признается “дорогому дневнику”: “Сознаюсь, что я немного рисуюсь перед собой и, хотя мне очень стыдно, не особенно думаю об Ире Медниковой, но таков закон: думают только о жизни, стараясь не омрачать ее кратковременное счастье мыслями о смерти” (запись от 8.02.1935 г.). А в записи следующего дня и вообще меняются угол зрения на проблему и тональность: “Оказывается, Медникова совсем не так больна. Эти проклятые девчонки всегда делают из мухи слона. Между прочим, она написала мне письмо, где надеется скоро меня увидеть” (Там же: 25). Что это? Легкомыслие, непостоянство, поверхностность чувств? И да и нет, поскольку здесь еще и неподдельная радость о том, что страшное из-

вестие не подтвердилось и девочка выздоравливает. Это толстовский Николенька Иртеньев в чистом виде с его “диалектикой души” и “непосредственной чистотой нравственного чувства”!

В школьных дневниках Давида Самойлова особенно поражает раннее чувство истории и сознание личной сопричастности к текущей общественной жизни. Мысли об истории возникают уже в самой первой записи Дезика Кауфмана, возобновившего ведение дневника 8 декабря 1934 г., – посреди раздумий об учителях, одноклассниках и особенно одноклассницах – сквозная тема школьных ПдЗ:

На уроке немецкого думал об истории и решил, что она похожа на ленту веков, которая наматывается на исходный пункт, т.е. появление человека, проходящую в определенные промежутки времени через одни и те же части круга, все более и более удаляясь от центра. Она похожа на эту спираль. Если черное пятно взять за первобытный коммунизм, то второе пятно будет наш коммунизм, более совершенный, но

все же коммунизм, и т.д.
(Там же: 13).

В этой записи слышатся отголоски диалектики Гегеля в обертке школьного курса истории, выстроенного на основе ленинского учения о диалектическом и историческом материализме. Через пресловутые *Три источника и три составных части марксизма* пока еще плохо просматривается будущий автор *Стихов о царе Иване*, о Софье Палеолог, Петре и Пугачеве, декабристах и Пушкине и многих других “исторических” стихотворений. Но в этой отроческой, во многом подражательной записи уже виден пытливый системный ум, взыскующий смысла истории и – ни много ни мало – конечных целей существования человечества.

В записи от 12.10.1935 г. высказана мысль о связи событий текущей истории с созданием “автобиографической повести”, где “я должен дать не только свои переживания и мысли, но и эпоху, и великих людей, и общество моего времени” (Там же: 41). К великим людям автор дневника относит Сталина, к которому долгие годы испытывает восторженное чувство, близкое к всенародному обожанию державного кумира. В записи от

26.08.1936 г., где шестнадцатилетний Дезик полностью одобряет расстрел участников “троцкистско-зиновьевского террористического центра”, он пишет:

В такие моменты чувствуешь силу и гениальность Сталина. [...] Он понял историю, он оседлал ее и держит крепко – в этом его гений. История – это узкая тропинка между двух пропастей. Нужно очень хорошо чувствовать ее, чтобы не свалиться в забвение. Прав тот, кто идет с историей, остальные будут сметены неизбежностью (Там же: 78).

Нужно ли говорить, что и реакция школьника, и самый лексикон этой записи отражают общественную атмосферу начавшегося “великого террора”.

Одноклассница Самойлова Лилианна Лунгина (тогда Маркович), вспоминая это страшное время, говорит, что прекрасно понимала смысл происходящих событий: “[...] процессы над ‘врагами народа’... я абсолютно в них не верила, я была решительно убеждена, что это сплошная инсценировка, это было для

меня вне всякого сомнения” (Подстрочник 2010: 97). Когда исключали из комсомола детей “врагов народа” Галю Лифшиц и Володю Сосновского, Лиля Маркович и еще один одноклассник Дезика Кауфмана Лев Безыменский (сын известного “комсомольского поэта” А. Безыменского) вступились за исключаемых, за что сами были исключены из рядов ВЛКСМ (Подстрочник: 2010: 95–96). Правда, потом всех исключенных восстановили по решению “мудрого” секретаря городского комитета комсомола Лукьянова. Вся эта история зафиксирована в дневнике в дни, когда проходил второй громкий процесс по делу “антисоветского троцкистского центра” (Пятаков, Радек, Сокольников и др.) (записи от 29.01 и 3.02.1937 г.). И здесь у страстно мечтающего о вступлении в комсомол Самойлова возникают опасные сомнения:

Рухнуло все, что я так тщательно и честно строил. Я разорвал свое заявление в комсомол. Или я слишком мелок, чтобы понимать, или все ужасно паршиво. [...] Во-первых, процесс. Бездна подлости. Но кому верить, если все те, кто де-

лал революцию, – предатели, изменники, шпионы. [...] И потом дочь Лифшица. Она учится у нас в школе. Комсомолка. Я видел ее отчужденной и одинокой. Ее отец – изменник, и она голосовала за его смерть. Я усумнился – правда ли все. Но это была минутная жалость. Потом ее исключали из комсомола. Лилька была против. Сегодня и она была исключена. Так где же правда? Где прекрасные фразы о демократизме, когда человека исключают за то, что он не согласен со всеми? [...] Что это – система или извращение? Нужно думать.

В следующей записи говорится о восстановлении Лифшиц и делается вывод: “Значит, система справедлива, значит, это только частность, с которой можно бороться”. А чуть позже приписано: “Как все это глупо и по-детски. Лукьянов – подлец и оттого сделал это” (Самойлов 2002, I: 106–107). Прозрение наступало медленно, но сомнения в “справедливости системы” возникали всякий раз, когда речь шла о конкретном человеке.

Достоевский пишет о Раскольникове, рассуждающем о возможной судьбе “юродивой” Сони: “... но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток...”. Дезик Самойлов тоже “был молод и отвлеченен”, но он не был жесток, а уж тем более скептик. Школьник, студент и солдат Давид Кауфман был как раз глубоко верующим в идею мировой революции и мировой справедливости, которая осуществится в коммунистическом обществе, построенном пролетариатом (Там же: 84–85). Но он был от природы добрым и думающим человеком. И еще он очень любил поэзию, которая ставила его лицом к лицу с живым человеком. Поэзия уводила от абстрактных идей, она заставляла думать и сопереживать. Наконец, она ставила вопрос о главном жизненном призвании.

Список поэтов, которых читает Самойлов-школьник, поражает не только разнообразием имен, но и соседством очень разных художественных миров: Гейне и Брюсов, Маяковский и Есенин, Пастернак и Тихонов, Блок и Хлебников, Рембо и Верлен – сама динамика авторских пристрастий выдает пылкую творческую натуру, ищущую свой путь в

поэзии⁶. “Почтенный дневник, склад моих мыслей и идей”, пронизан мучительной рефлексией зреющего поэта, то сомневающегося в своем даре, то вновь окрыленного сладкими надеждами.

Из самых ранних записей о поэзии и о своих поэтических опытах: “Поэзия успокаивает меня. Когда я пишу стихи, то чувствую, что все плохое уходит и в сердце остается только легкое и хорошее”. А далее – слова, звучащие как пророчество будущих прозрений: “К сожалению, теперь нет хороших поэтов, да и вообще искусства не могут развиваться при диктатуре, какой бы то ни было. Я знаю, что пролетарская наша диктатура, в которую я врос плотью и кровью, нужна теперь, чтобы задушить врага, но тем не менее *и она препятствует развитию искусства*” (запись от 15.12.1934 г.) (Там же: 16).

Каждый начинающий поэт страдает переоценкой своего творческого дара и любит дифирамбы в свой адрес. Школьника Самойлова отличает редкая для его возраста взыскательность и самокритичность.

⁶ О динамике пристрастий и вкусовых предпочтений начинающего Самойлова-поэта см. Немзер 2006: 12–16.

Другие люди, которые читают мои стихи, вообще в поэзии смыслят, как свиньи в апельсинах, и отделяются фразами: “Прекрасно! Восхитительно! Ну, прямо будущий Пушкин!” Или: “Стиль оригинален”, “Мысли хороши”, “Нужно над собой работать” и т.д. Поэтому я наотрез отказался читать стихи таким людям и прячу их, уходя, а то родители достают их и читают. Теперь окончательно я закончу “Жакерию” и отошлю ее Горькому (запись от 3.01.1935 г.) (Там же: 17–18).

Неоконченная поэма *Жакерия*, стихотворение *Песня о Чапаеве*, сурово раскритикованное редактором «Пионерской правды» (запись от 9.01.1935 г.), что породило новую волну сомнений у начинающего поэта, замыслы драмы в стихах *Спартак*, психологической трагедии о провокаторе Азефе, а позднее, в годы войны – о предводителе кавказских горцев Шамиле – все это в ряду юношеских увлечений историческими сюжетами, но с другой стороны – свидетельство творческого роста и

гражданского возмужания Давида Кауфмана, изначально соотносившего личную судьбу с судьбой своего поколения, которое он назвал “поколением сорокового года” и определяющей чертой которого считал верность “категории долга”. В единственной пространной записи в дневнике 1941 года, сделанной в начале ноября в Куйбышеве, Давид Самойлов определил главный вектор эволюции своего поколения как “постепенное отречение от относительного”:

Мы искали того, что Гегель называет конкретной истиной. Война сорвала эти поиски. Люди нашего поколения разными путями пришли к одному: все на фронт. Здесь были герои, трусы и обыкновенные люди. Никто не отрекся от войны. Если мне придется когда-нибудь писать, я напишу о том, как категория долга стала для нас господствующей. Это единственное чувство, которое следует внушать людям с пеленок: долг.

Далее следует суровая оценка интеллигенции, оторванной

от народа, и не менее суровая самооценка прожитой жизни:

Одно время я думал, что дети не отвечают за родителей. Может быть, только теперь, когда я думаю об этом периоде своей жизни, мне стало понятно, отчего я был неправ. Люди приходят в социализм, отягощенные пороками предков. Особенно мы, особенно интеллигенция. [...] Себялюбие, тщеславие, чистоплюйство, кружковщина, рефлексия, пустословие, мещанская узость – вот наследие многих из нас.

Звучит почти как приговор целому сословию и самому себе, к этому сословию принадлежащему. И весь накопленный духовный опыт, который запечатлел довоенный дневник, определен как “Евангелие для одного себя” и как “болезнь всего поколения” (Самойлов 2002, I: 140, 148, 144–145).

Понадобилось совсем немного времени, чтобы оказавшийся на войне среди “простого народа” интеллигент Давид Кауфман, очень похожий на философа-мечтателя Пьера Безухова, встретил своего

Платона Каратаева – солдата Семена Косова, который вынес раненого поэта из-под обстрела и отправил в тыл, а сам остался один у пулемета прикрывать отход. Самойлов посвятит “праведнику” Косову проникновенные страницы ПЗ⁷ и стихи *Семен Андреевич* (1946). Эти стихи написаны поистине с толстовской простотой и без романтического пафоса ранних поэтических опусов (*Плотники*, *Пастух в Чувашии* и др.), почти разговорным стилем (см. Немзер 2006: 22): “Да, он был мне друг, неподкупный и кровный, / И мне доверяла дружба святая / Письма писать Пелагее Петровне. / Он их отсылал не читая. / – Да что там читать, – говорил Семен, / Сворачивая самокрутку на ужин, – / Сам ты грамотен да умен, / Пропишешь как надо – живем, не тужим. [...] / Ты думал, что книги пишут не люди, / Ты думал, что песни живут, как кони, / Что так оно было, так и будет, / Как в детстве думал про звон колокольный” (Самойлов 2006: 64).

У Толстого о языке Платона Каратаева сказано, что,

когда он говорил свои речи, он, начиная их, ка-

⁷ См. Самойлов 1995: 206–218.

залось, не знал, чем он их кончит. Когда Пьер, иногда пораженный смыслом его речи, просил повторить сказанное, Платон не мог вспомнить того, что он сказал минуту тому назад, – так же, как он никак не мог словами сказать Пьеру свою любимую песню. Там было: “родимая, березанька и тошненько мне”, но на словах не выходило никакого смысла. Он не понимал и не мог понять значения слов, отдельно взятых из речи. Каждое слово его и каждое действие было проявлением неизвестной ему деятельности, которая была его жизнь.

Таким же “круглым”, “роевым” человеком предстает и Семен Косов в ПЗ:

Семен, как и большинство солдат [...] бригады, принадлежал к русской народной культуре, которая в наше время почти стерлась с исчезновением ее носителей – крестьян. [...] Речь Семена была полна новых для меня значений; он учил меня понимать сны, тол-

кование которых сродни звуковым ассоциациям поэзии: девки – к диву, лошади – ко лжи. Однажды мне приснилось, что спорю с отцом.

– С отцом дрался – домой придерешь, – сказал Семен.

Мудрость Семена была не от чтения, а от опыта, накопленного в народной речи (Там же: 208–209).

В дневнике 1943 г., незадолго до выписки из госпиталя, Самойлов напишет:

Наконец категория народности перестала быть для интеллигенции абстрактной. Появилась интеллигенция нового качества и новой гордости. Мы избавились от вековой мягкотелости и колебаний. Мы можем гордиться тем, что мы интеллигенты, не боясь стать снобами. Нам не нужно заискивать перед народом. Мы сами народ (запись от 28.07) (Самойлов 2002, I: 170).

В этом месте мы расстанемся с двадцатитрехлетним автором ПдЗ. Впереди у него целая жизнь с ее обретениями и по-

терями, иллюзиями и разочарованиями, новыми дружбами и любовями. Но самое главное – впереди многотрудная дорога на поэтический Олимп и неустанный духовный поиск самого себя, так замечательно отразившийся в дневниках поэта. Не боясь насмешек и обвинений в наивной легковёрности и отвлечённости от “живой жизни”, Давид Самойлов сохранил этот дневник для будущих поколений, не отказавшись ни от чего, что выпало на его долю и что стало исторической судьбой его

поколения – поколения “людей сорокового года”, от лица которого “пылкий мальчик”, проявивший себя на войне “мужем с честью и умом”, написал перед отправкой на фронт: “Мы предлагаем за счастье самую дорогую цену – жизнь. Может быть, мы уплатим эту цену, не получив ничего. Лишний довод в пользу того, что устройство мира не имеет ничего общего с коммерцией” (запись от 16.08.1942 г.) (Там же: 151–152).

Библиография

Немзер 2006: А. Немзер, *Лирика Давида Самойлова* // Д. Самойлов, *Стихотворения*, Академический проект, Санкт-Петербург 2006, с. 5–53.

Подстрочник 2010: *Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана*, Астрель: CORPUS, Москва, 2010.

Самойлов 1995: Д. Самойлов, *Памятные записки*, Международные отношения, Москва, 1995.

Самойлов 2002, I: Д.С. Самойлов, *Поденные записки: в 2 т.*, Время, Москва, 2002, т. 1.

Самойлов 2005: Д.С. Самойлов, *Книга о русской рифме*, Время, Москва, 2005.

Самойлов 2006: Д. Самойлов, *Стихотворения*, Академический проект, Санкт-Петербург, 2006.